

УДК 930.85

**ТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ХЕЙДЕНА УАЙТА
В СИТУАЦИИ ПОЗДНЕГО ПОСТМОДЕРНИЗМА:
ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕДЕЛЫ**

В.М. Бухараев, Г.П. Мягков

Аннотация

В статье анализируется проблема места и роли широко известной работы американского историка и мыслителя Х. Уайта «Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века» в процессах эволюции социогуманитарного знания конца XX – начала XXI столетия. На основе «второй рефлексии», адекватной времени позднего постмодернизма, выявляется пролонгированный эвристический потенциал тропологической концепции Х. Уайта и вместе с тем пределы её применимости, моменты несовпадения с реальной практикой современного исторического познания.

Известный «моралист в эпоху идеологий» [1] Р. Арон заметил, что «историческое настоящее не существует без воспоминаний и предчувствий. Каждый человек находит в нем след событий, которые уже пережиты, и признаки будущего, которое созревает» [2, с. 12]. Это можно отнести, верно, и к сфере интеллектуального движения, истории науки. Появление «Метаистории» Х. Уайта в 70-х годах XX века на интеллектуальных площадках эпистемологии и философии истории вызвало повышенный интерес гуманитариев, поставив размышления американского историка «об историографии и её связи с литературным и научным дискурсом, с одной стороны, и с мифом, идеологией и наукой – с другой» [3, с. 7–8] в ситуацию «pro» и «contra». Между тем значение идей Х. Уайта для социогуманитарного познания, которое тогда, во время их появления, только ещё начинало осознаваться, присутствовало в научном сообществе именно что в виде «предчувствий», неких знаков не столь отдалённого будущего, ретроактивно раскрывается ныне, три десятилетия спустя. Для этого понадобилось «всего-навсего», чтобы эпоха постмодернизма вступила в период упадка – время «after-postmodernism'a» (инвариант: пост – «post-mo»), отмеченного утверждением ценностей «средней позиции». Поэтому современную ситуацию точнее было бы определить в качестве позднего постмодернизма, поскольку речь идёт, скорее, не о преодолении постмодернистских новаций, а прежде всего об учёте их «уроков», иначе говоря, о методологических компромиссах между «новацией» и «традицией» на основе открытого или завуалированного, по умолчанию, признания ряда принципиальных идей постмодернизма.

Концепция «риторической диалектики» Уайта, тесно связанная с постструктуралистскими тенденциями эволюции гуманитарного знания, оказавшись те-

перь по ту сторону постмодернизма, отчётливо выявляет свой пролонгированный эвристический потенциал и вместе с тем пределы своей применимости, моменты несовпадения с реальной практикой сотворения нарративных субстанций.

Собственно, в данном материале автор стремится представить своё истолкование проблемы места и роли «Метаистории» Уайта в формировании нового стиля гуманитарного и исторического мышления на рубеже XX – XXI веков, сфокусированного на своего рода лингвовидении мира истории, а также интерпретирует некоторые технологии нарративно-лингвистической историологии американского учёного. Для этого необходимо, прежде всего, попытаться восстановить контекст уайтовской «метакниги».

Итак, антипозитивистская «революция» в историографии, развернувшаяся в XX столетии, не могла считаться завершённой без того, чтобы не были окончательно похоронены надежды «романтического века» науки на самую вероятность достижения исторической истины, минуя «посредников». Историографический модерн 50–60-х годов немало продвинулся в этом направлении. Здесь важно отметить, что произошёл заметный сдвиг в содержании историко-историографической проблематики. Получила распространение идея о значимости такой функции академического сообщества, как обеспечение его членами высокого статуса на основе обладания правом занятия избранной профессией. Историки начали трактовать академическую историографию как определённый способ репрезентации знания. А последнее – в качестве открытой, подвижной социокультурной системы, бытование которой во многом определялось согласительными «значениями», обладающими властными функциями. Тем самым «факт» «отодвигался» от исследователя конвенциональными соглашениями и играми научного сообщества.

Однако торжество модерна в историознании таило в себе сильное внутреннее напряжение. Используемые для характеристики авангардных направлений определения отражают, во-первых, свойственный «нонконформистскому» духу Модерна момент разрыва с традицией (здесь – со «старой» спекулятивной философией истории и релятивизмом первой половины XX века в пользу сциентизма и исторической эмпирии) – «новая научная история», «новая историческая наука» и др. Во-вторых, – происходившую масштабную диверсификацию исторического знания, расщепление социальной ткани истории на локальные объектные поля. Историознание в очередной раз оказалось перед необходимостью удержаться в качестве дисциплинарного целого. Историки-модернисты стремились решить эти задачи на путях сциентического переоснащения историографии, смещая «фокус от особенного к всеобщему, от событий – к структурам, от описания – к анализу» [4, с. 539]. Проведённая в этих целях мобилизация идей «западного марксизма» (что объясняется во многом леворадикальной ориентацией «нонконформистов» и «бунтарей» от обновлённой версии модерна) усиливала настроения в пользу «моноцентрической» науки со свойственным ей пафосом монополии на истину одной («победившей» остальные) теории. Западная историография, особенно её «советологический» сектор, превратились в поле боя между «тоталитаристами» и «ревизионистами», «социальными» и «политическими» историками (см. [5, с. 12–17; 6, с. 19–21; 7, с. 5]).

Методология «или-или» распространила своё влияние на историю как систему познания, а также набора дискурсов и концепций.

Последовавшее затем разочарование в крайностях сциентизма обернулось появлением подходов, сближающих историописание с литературой, нарративом – последнее понятие превратилось в знаковое для постмодернистского антиисторизма. Нарботки структурализма и семиологии оказались для него как нельзя кстати. Распространение новых теорий и приёмов критики за пределы того, что принято называть художественной литературой, на анализ собственно исторических произведений было связано с концептуальными разработками американских гуманитариев, главным образом, с так называемой тропологической теорией истории. Именно в американской академической среде, весьма восприимчивой к влиянию достижений западноевропейской теоретической мысли, идеи французских постструктуралистов и немецких неогерменевтиков получили благодатную почву (см. [8, с. 228]).

Дело, конечно, не только в тех разочарованиях, что испытали гуманитарии в связи со сциентистскими программами клиометрии, психоистории и исторической антропологии. Постмодернистскую трансформацию западной культуры можно рассматривать как реакцию западного интеллектуального сообщества на те угрозы, которые несли с собой тенденции культурной «ретотализации» 50–60-х годов, всплески идеологического историзма гегельянства и марксизма в социальном знании. Претензиям на монологичность и единственно правильную теорию был противопоставлен постмодернизм – идея радикальной плюральности, базирующаяся на признании бесспорной ценности различных концепций и проектов. Не случайно, что именно американские гуманитарии инициировали антисциентистскую программу. В 1940–1950-х годах резко упала популярность марксистских – монологичных по своей интенции – идей в среде американских интеллектуалов, чему способствовали, в числе других причин, экономический расцвет, социальное благополучие послевоенной Америки, а также охватившее американскую систему образования, науку, интеллектуальную жизнь антикоммунистическое единомыслие, поддерживаемое «маккартизмом».

Ultima ratio модернистского натиска на позитивистскую историографию и одновременно первым шагом к постмодернизму явилась критика традиционных и неосциентистских подходов в русле «лингвистического поворота», на котором сошлись, соединились до того в основном обособленно развивавшиеся исследовательские практики: историография, литературная критика, лингвистика. Когда философия истории «затеяла разговор» о своём языке, стилистике и лексиконе с теорией литературы, отчётливо обнаружилось, что «метафоричность языка историков (у которых нет собственного профессионального языка) сплошь и рядом приводит к реинфекции понятий, которым придают самостоятельное бытие. Зависимость историка от современности – не только мировоззренческая, идеологическая и экзистенциальная, но вместе с тем и в первую очередь – лингвистическая» [9, с. 8]. А значит – даже условно неустранимая, поскольку язык есть и наиболее объёмлющее, и наиболее дифференцированное средство выражения, которым владеет человек, его же не преидеши. Ни в культурном, ни в научном сознании.

В этом повороте к языку нередко усматривают один из главных итогов интеллектуальной истории XX века: возникло понимание того, что прямой доступ к исторической реальности невозможен, ибо, предстая перед нами в различных вариантах языковой репрезентации, она всегда уже истолкована. Начало «лингвистического поворота» собственно в историознании принято связывать с именем Х. Уайта. Непрерывающаяся после выхода его «Метаистории» дискуссия о её основных положениях делает это издание репрезентативным явлением современной методологии историографии, даёт понять о природе постмодернистских претензий к традиционному историознанию, а также о стремлении последнего удержать свой дисциплинарный статус.

В эпистемологии «Метаистории» выделяются, в частности, две исследовательские традиции, для каждой из которых проблема идеологии является принципиальной или даже центральной: структурализм с его теорией дискурса и так называемая социология знания (она же интерпретативная, или гуманистическая социология). Одним из основателей последней является К. Мангейм, который полагал, что на процесс формирования познания и его результаты оказывают воздействие не только классовые и экономические интересы, как это явствует из идей Маркса, но и многие разновидности групповой принадлежности и социального положения, – вполне в веберовском духе; причём ещё и сам марксизм – никак не исключение из этого правила.

Уайта скорее интересовали те методологические позиции Мангейма, на которых акцентируют внимание современные сторонники интерпретативной социологии: общее понятие идеологии, по Мангейму, поднимает социологию знания на совершенно иной уровень, когда осознаётся, что ни одно человеческое мышление (за исключением математики и части естествознания) «не свободно от идеологизирующего влияния социального контекста» (см. [10, с. 22]).

Для Уайта тоже характерно это «общее понятие идеологии» как «набора предписаний» для занятия позиции в современном мире социальной практики и действия в соответствии с ней (либо изменять мир, либо упрочивать его в его сегодняшнем состоянии), такие предписания сопровождаются аргументами, претендующими на авторитет науки или реализма. Поэтому история и идеология по Уайту – близнецы-сёстры: «как каждая идеология сопровождается особой идеей истории и её процессов», так «каждая идея истории сопровождается определённым идеологическим подтекстом» [3, с. 43].

В осмыслении роли идеологии в развитии духовной сферы общества социология знания двигалась тем же маршрутом, что и лингвистический структурализм, идеи и подходы которого подготовили лингвистический поворот в историографии. Здесь, на проблемах лингвистического структурализма, сосредоточены главные исследовательские интересы Уайта. И неспроста. Концепции структурализма предоставили историкам и политологам широкие возможности для контактов с представителями философии, социолингвистики, семиотики. С позиций последней, язык моделирует мир, одновременно он моделирует и самого пользующегося этим языком, т. е. говорящего. Тем самым язык оказывается «первичной феноменологической данностью» [11, с. 5] (читай: «фактами» истории, общественно-политической жизни и повседневности).

Проблема «власти слова и слова власти» была разработана в современной семиотике (семиологии) как общей теории знаковых систем. В качестве одного из основных компонентов структурализма наука о знаках восходит к лингвистическим исследованиям французского лингвиста Ф. де Соссюра, считающегося основателем современной структурной лингвистики. На процессы исследования структурных особенностей языка, науки и идеологии значительное влияние оказали труды Р. Барта (он вообще считал семиотику наукой об идеологиях), который – наряду с К. Леви-Строссом, Л. Альтюссером, М. Фуко, Ж. Лаканом, Ж. Деррида – представляет обладающую высоким исследовательским потенциалом школу французского структурализма.

Зародившись как метод в общем языкознании, структурализм в трудах нового поколения его представителей («позднего» Барта, Фуко, Деррида и других социолингвистов) уже в качестве «постструктурализма» возвращается к личности, языку, мышлению, неизменно сохраняя – во всех своих версиях – ориентацию на поиск аналогий со строением языка во всех сферах культуры и социума. Иначе говоря, основываясь на предположении о том, что общество можно анализировать по аналогии с языком и лингвистикой, – идее, которая имплицитно присутствует уже в структуралистских опытах.

«Метаистория» Х. Уайта примечательна тем, что сигнализирует о начавшемся переходе от структуралистских подходов к идеям постструктурализма. Отсюда различные акценты в оценках места «Метаистории» в историографическом процессе. Скажем, Л.П. Репина называет Уайта «признанным лидером постмодернистского теоретического и методологического обновления историографической критики» (см. [8, с. 228]), тогда как автор рецензии на русское издание книги Уайта подчёркивает, что «всё же посвящённая вопросам концептуализации событий прошлого в историческом сочинении «Метаистории» продолжает находиться в русле модернистской проблематики» [12]. Актуализируя теорию тропологической дискурсивности на «площадке» истории исторической науки (а также «подтягивая» концепцию идеологии Мангейма до идеи идеологического дискурса), Уайт сотворяет впечатляющую исследовательскую модель историописания. «Его» историк создаёт текст как некий «языковой протокол», предопределяющий выбор моделей объяснения прошлого. Познающий историю далеко не свободен в процессе смыслового наполнения языковых форм. Поскольку любое историческое повествование, как полагает Уайт, – это развёрнутая метафора, в основе которой лежат четыре тропа (собственно метафора, метонимия, синекдоха и ирония), то историк обречён на следование одной из этих моделей прозаического дискурса, она же – модус исторического сознания. Тем самым историк/писатель неизбежно выбирает какой-либо «идеологический подтекст», поскольку в язык изначально вписано «наречие» вездесущей социальной власти, легитимирующей себя посредством внятных идеологических назиданий и коннотативных нашёптываний: разность идеологий находит выражение как раз в этих четырёх основных фигурах речи. Поэтому исследователь не сталкивается с событиями прошлого в «чистом виде», но обнаруживает в прошлом «факты», которые изначально представляют собой языковые конструкции, задающие логику речевых практик. А вышедшее из-под

его пера сочинение на тему истории является словесной структурой в форме повествовательного прозаического дискурса.

Воспроизведённая здесь – в упрощённом виде – сконструированная Уайтом модель историописания выглядит ныне как повторение пройденного, но лишь потому, что многие её элементы, вернее, идеи и интерпретации эпистемологической концепции учёного стали достоянием историографии. Поэтому в спорах о постмодернистском вызове, с которым столкнулась историческая наука, «Метаистория» Уайта продолжает фигурировать в числе знаковых книг постструктурализма. Эти споры отражают на поле исторических изысканий того же когнитивного порядка противоречия, что складываются между социологическим объективизмом и субъективизмом («структура» или «воля?»), структурализмом и экзистенциализмом, а также положительно коррелируют с опытами согласования этих противоречий в метафизике и социально-философской мысли.

Размывание грани между историей и беллетристикой, смещение герменевтической установки от содержания исследуемых текстов к их формальным особенностям, резкий откат от жёсткого сциентизма в теории науки – по «законам» раскачивающегося маятника или сгибания палки – неизбежно оборачивается релятивизацией истины в историознании: «Но научное знание оказывается нектати, если нас интересует ЗНАЧЕНИЕ и если под значением мы понимаем то, что ЛЮДИ ИМЕЮТ В ВИДУ, когда они употребляют слова, которые мы рассматривали» [13, с. 236]. Отсюда же и «радикальное изменение отношения к работе профессионального историка. Сказанная или написанная история чего бы то ни было не может быть истинной или ложной, основанной на фактах или вымышленной. Всё – и факт, и выдумка, и ложь, и правда – составляет «текст истории», так сказать, и этот текст нам всегда дан как текст настоящего, а не прошлого» [14, с. 366–367].

Академическое сообщество историков забило тревогу: между исследователем и «фактом» – «опорой, основным элементом всей истории как науки» – не просто возникали дополнительные последующие звенья, но сам «факт» оказался «растворён, как в кислоте», что поставило под сомнение вообще возможность достижения истины в историческом познании. Отсюда – стремление дезавуировать концепцию Уайта как ликвидаторскую по отношению к историографии и к самой профессии историка (см. [15, с. 65–66; 16, с. 602–603; 17, с. 31, 79, 115, 129 etc.]). И не только. Л. Госсман, заявляющий о своей приверженности духу либеральной идеологии, квалифицирует релятивизм Уайта как а-диалогичный и в конечном счёте антилиберальный (см. [18, с. 318–319]). Эта характеристика, располагающаяся в русле традиции либерально ориентированной социологии, явно бьёт мимо цели: не что иное, как «Метаистория» Уайта в совокупности с другими его исследованиями, немало способствовали формированию подхода, заступавшего дорогу претензиям истории на жесткую систематичность, универсализм, в конечном счёте – на антилиберальный рационалистический конструктивизм и «программирование» будущего.

Если Госсман рассматривает «антилиберализм» и «монологизм» концепции Уайта всё же в качестве «незапланированного» результата его изысков, то И.М. Савельева и А.В. Полетаев прямо усматривают здесь авторский умысел. Экспрессивно-иронически определяя концепцию Уайта как «умопомрачитель-

ную классификационную схему», они не оставляют места для сомнений относительно той цели, которую преследовал методолог: «схема сконструирована автором только для того, чтобы доказать, что история *не является* наукой». Потому-то Уайт, полагают критики, «не различает разные типы знания, в частности, философию, науку, идеологию и искусство». Кроме того, «претендуя, якобы, на анализ знания, автор на самом деле анализирует “стили”, т. е. подменяет исследование *содержания знания* рассмотрением стилистической формы *текстов*» [19, с. 27].

Между тем ни на основании результата, ни, тем более, – замысла работы Уайта никак нельзя сказать, что он «не различает разные типы знания», да ещё с целью лишить историю научного статуса. Важным побудительным мотивом теоретического порыва Уайта явилось его стремление оспорить разработку проблемы «исторического сознания» континентальными европейскими мыслителями, от Валери и Хайдеггера до Сартра, Леви-Строса и Фуко, а также представителями англо-американского философского авангарда: «в результате двух этих линий исследования создается впечатление, что историческое сознание, которым западный человек так гордился с начала XIX века, может быть не чем иным, как теоретическим основанием идеологической позиции, с которой западная цивилизация рассматривает свои отношения не только с предшествующими ей культурами и цивилизациями, но и с современными и соседствующими в пространстве. Короче говоря, историческое сознание можно рассматривать как специфически западный предрассудок, посредством которого задним числом доказывается предполагаемое превосходство современного индустриального общества» [3, с. 22–23].

Уайт взялся за дело, чтобы перед лицом этих именно что «ликвидаторских» позиций обосновать новый взгляд «на современную полемику о природе и функциях исторического знания». Предложить «своё видение решения вопроса о том, в каком соотношении в историографии представлены идеологические, литературные, мифологические элементы, с одной стороны, и научные – с другой. Соответственно – как отличить факт и вымысел, описание и повествование [narrativization], текст и контекст, идеологию и науку и т. д.» [3, с. 9]. Но вот насколько всё это удалось Уайту?

Во всяком случае, весьма взвешенной выглядит самооценка Уайта, которая содержится в его предисловии к русскому изданию книги: «Я думаю, что она внесла свой вклад во всестороннюю теорию историографии, поскольку с одинаковой серьёзностью отнеслась к статусу историографии как письменного дискурса и к её статусу как научной дисциплины». Здесь же автор замечает, что «“Метаистория” принадлежит определённому, “структуралистскому”, этапу развития западной гуманитарной науки». Признаётся: «Сегодня я писал бы её иначе». Действительно, слабые места концепции Уайта суть проявления органических недостатков структурализма, того же редукционизма, вследствие чего в поле зрения исследователя, как бы это сказать, не всегда оказывается активное, деятельное начало социального и научного развития, а равно остаются в тени те второстепенные и случайные факторы историографического процесса, которые при определённых условиях способны обрести роль ведущих.

Пытаясь вырваться из плена структуралистского детерминизма, Уайт предпринял попытку переоснащения методологического инструментария историко-историографической критики. Прежде всего он отказался от концепций стиля, заменяя их теориями дискурса: «Я убеждён, что наиболее продуктивный подход к изучению историографии – это отношение к литературному аспекту последней более серьёзным образом, чем позволяет туманное и не вполне теоретическое понятие “стиля”» [3, с. 7]. Критика «терминов малосодержательно-го понятия стиля» содержится и в более поздней книге Уайта (см. [20, с. 192–193]).

В своей «Метаистории» Уайт дисквалифицирует «историографический стиль» в качестве сколь-нибудь действенного инструмента анализа исторического сочинения. Поэтому некорректно безоговорочно рассматривать концептуалистику Уайта в понятиях «стиля», как это нередко делают его комментаторы и критики. Другое дело, что грандиозная затея Уайта – отказаться от концепции стиля как системы анализа культуры и науки – не удалась. Да она и не могла иметь успеха, как любые другие подобные операции.

Понятие стиля – не более, а даже менее «туманное», чем иные ключевые понятия социального и гуманитарного знания. Скажем, понятие структуры – одно из самых многозначных среди всех возможных. Это утверждение, верное в целом, становится тем более истинным, когда речь идёт о социальных науках (см. [21, с. 84]). А термин «конфликт»? Проблемы, которые возникли в теориях конфликта с определением этого понятия, не решены и по сей день. Конфликтологи часто ссылаются на неудачу американских социологов Р. Макка и Р. Снайдера, которые на рубеже 1970–1980-х годов, в период особенно интенсивного развития исследований в области конфликтов, пытались навести порядок в использовании терминов и проанализировали ряд понятий, таких как антагонизм интересов, агрессивность, вражда, конкуренция, социальный раскол и т. д. Признав, что ни одно из них не является синонимом конфликта, авторы были вынуждены констатировать: «Очевидно, “конфликт” представляет собой большей частью резинообразное понятие, которое можно растягивать и полученное использовать в своих целях» (см. [22, с. 12]). Не лучше обстоит дело с дискурсом, который «стал одним из широко и некорректно употребляемых терминов – понятием, не имеющим ясно очерченного однозначного определения. Часто дискурс и текст используются как взаимозаменяемые понятия» [23, с. 11–12]. Можно добавить, что и «идеология – одно из самых противоречивых понятий в социологии» [24, с. 98].

Так что дело не в степени концептуальной проработки понятия «стиль», а в том, что оно укоренено в самих основах современной науки и культуры вне зависимости от их эпистемологических и идеологических характеристик. К середине прошлого века в базовых версиях европейской философии, гуманитарии, историографии, в культурном сознании в целом прочно укоренилась понятие стиля как основанного на определённых закономерностях образа жизни и способа действия. Особенно если речь шла о способе, играющем в этом отношении значительную роль, способе создающем, обладающем творческой ценностью. В этом смысле принято было говорить о творческих стилях (романский, готический, Возрождения, барокко и т. д.), о стиле культуры «как единст-

ва творческих стилей во всех проявлениях народной жизни» (Ф. Ницше), о стиле жизни какой-либо яркой личности (гётевский стиль жизни) и т. д. Обрушить культурный колосс стиля оказалось не под силу всему постмодернизму, хотя он и выступает в качестве принципиального противника расцентрованной плюральности: «Стиль идеологичен, как всякое мировоззрение, но демократия принципиально отвергает мировоззрение, идеологию, она занята решением исключительно текущих проблем... Не может быть системотворчества в демократии, а стиль системен, целостен, тотален, “выдержан”» [25].

Концепции дискурса в этих обстоятельствах могут выступать лишь в качестве дополняющих идеи стиля теоретических конструкций, что и произошло в социогуманитарном познании. Более того, расстыковка «стилевого» и «дискурсивного» измерений историознания в методологии Уайта – одна из причин того, что она как конкретная технология историографической критики не находит широкого применения. Е.Г. Трубина указывает на работу Д. Островски (см. [26]), которая представляет собой одну из немногих попыток применить схему Уайта во всей полноте. В частности, «Краткий курс истории ВКП(б)» предстал в построениях Островски в качестве исполненного в регистре романтизма произведения, воплощающего идеологию Анархизма. Понятно, что такой «Краткий курс» не может найти понимание у тех, для кого эта «книга книг» сталинского большевизма служит образцом советского Большого стиля (хотя и восходящего к романтико-героическому мировидению эпохи «бури и натиска», содержащего его рудименты), пронизанного своеобразным сочетанием державной и революционноцентристской идеологий (см. [27, с. 316–333]).

И ещё об одной принципиальной передержке Уайта. Его концепция улавливает «подтексты» и влияния различных «структур», прежде всего на уровне общих тенденций историографического процесса, но начинает «спотыкаться» на конкретных исторических произведениях, которые несут на себе печать многих «случайностей», индивидуальных особенностей исследователя. Что ж, в нашем случае вполне подтверждается метафизический взгляд на природу и функции теории: «Теория всегда внушает надежды на возможность своего осуществления на практике и постоянно не оправдывает их. Основная функция теории заключена в “ироническом” результате. Она исполняла свою задачу, выходя за пределы “практики”, будучи метафоричной», а именно, вдохновляла на достижение идеала. Но не более того, поскольку «мы знаем больше, чем можем исполнить» [28, с. 129].

Ситуация, как всегда в методологии истории, продолжает оставаться проблемно открытой. Но несомненно, что тропологическая историология Х. Уайта существенно обогатила научный инструментарий, позволяя, в частности, получить более объёмную картину взаимодействия идеологии и исторической науки, их – и «естественного», «добровольного», и «вынужденного» – диалога. Один из наиболее глубоких и внятно мыслящих теоретиков современного исторического познания Ф. Анкерсмит знает, что говорит: сегодня «тропология для истории является тем же, что логика и научный метод для науки» [29, с. 80]. Право, трудно усмотреть в этом какое-либо преувеличение: разработанная Хейденом Уайтом нарративно-лингвистическая историческая эпистемоло-

гия составляет весомую долю в алхимическом составе «второй рефлексии» и своеобразного *ре-цептуализма*, коими отмечена эпоха позднего постмодернизма.

Время всё расставляет по своим местам: мудрый и ироничный анализ Уайта глубокой структуры исторического воображения, который как будто прямо соответствует пронизательному взгляду его глаз и мягкой, с лукавинкой, улыбке, служит сегодня надёжной основой для плодотворного обновления исторического познания. В этом движении найдётся место всем, и представителям очередных авангардов, и хранителям традиций исторической классики.

Summary

V.M. Bukharaev, G.P. Myagkov. The tropological strategy of H. White in the situation of the late post-modernism: possibilities and limits.

The article presents an analysis of the place and role of the well-known work of American historian and thinker H. White “Metahistory: The Historical Imagination in the Nineteenth – Century Europe” in the evolution process of humanitarian knowledge at the end of XX – the beginning of XXI centuries. The heuristic potential of White’s tropological conception is discovered on the basis of “the second reflexion”, which is appropriate to late post-modernism. At the same time the author noted the limits of adaptability and lack of convergence with real practice of contemporary historical cognition.

Литература

1. *Baverez N.* Raymond Aron: Un moraliste au temps des idéologies. – P.: Flammarion, 1993; Champs, 1995. – 541 p.
2. *Арон Р.* История XX века: Антология. – М., 2007. – 1105 с.
3. *Уайт Х.* Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. – Екатеринбург, 2002. – 528 с.
4. *Barraclough G.* Main Trends in History. – N. Y., 1969. – V.2. – 623 p.
5. *Бухараев В.М.* Историческое сознание versus историческое познание. Об одной апории историознания // Социально-историческое знание в Татарстане: исследовательские традиции и современность. – Казань, 1995. – С. 12–17.
6. *Бухараев В.М., Мягков Г.П.* Тоталитаризм как проблема социальной науки (Этюд о превратности идеи) // Демократия и тоталитаризм в судьбах европейской цивилизации XIX – XX веков. – Уфа, 1992. – С. 19–21.
7. *Бухараев В.М.* Концепция «тоталитаризма»: общее и особенное [Выступление] // «Круглый стол». Июнь, 1993. – М., 1993. – С. 4–7.
8. *Репина Л.П.* «Новая историческая наука» и социальная история. – М., 1998. – 282 с.
9. *Гуревич А.Я.* Историк конца XX века в поисках метода: Вступительные замечания // Одиссей. Человек в истории. – М., 1996. – С. 5–10.
10. *Бергер П., Лукман Т.* Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания. – М., 1995. – 323 с.
11. *Успенский Б.А.* Избранные труды. Т. I. Семиотика истории. Семиотика культуры. – М., 1996. – 607 с.
12. *Олейников А.* Апология Гомера: Историк – тот же поэт. Он не мыслит, он чувствует // Независимая газета. – 4 апреля 2002.
13. *Вежбицкая А.* Язык. Культура. Познание. – М., 1996. – 411 с.
14. *Пятигорский А.М.* О постмодернизме // Избранные труды. – М., 1996. – С. 362–368.

15. *Golob E.* The Irony of Nihilism // History and Theory. – N. Y., 1980. – 382 с.
16. *Novick P.* That noble dream: The “objectivity question” and the American historical profession. – Cambridge, 1988. – 648 с.
17. *Evans R.J.* Takten und Fiktionen. Über die Grundlagen historischer Erkenntnis. Frankfurt – N. Y., 1998. – 415 с.
18. *Gossman L.* Between History and Literature. – Cambridge, 1990. – 589 с.
19. *Савельева И.М., Полетаев А.В.* История как теоретическое знание // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. – М., 2000. – Вып. 3. – С. 15–33.
20. *White H.* The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical Representation. – Baltimore, London, 1987. – 374 с.
21. *Boudon R.* Aquoi sert la notion de structure. – P., Gallimard, 1968. – 406 с.
22. *Гришина Н.В.* Психология конфликта. – СПб., 2000. – 464 с.
23. *Майнхоф У.* Дискурс // Контексты современности. Хрестоматия. – Казань, 1998. – С. 11–13.
24. *Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б.С.* Социологический словарь (The Penguin). – Казань, 1997. – 360 с.
25. *Парамонов Б.* Постмодернизм // Независимая газета. – 1995. – 26 января.
26. *Ostrowski D.A.* Metahistorical Analysis: Hayden White and Four Narratives of “Russian” History // Clio. – 1990. – V. 1, No 3. – P. 215–236.
27. *Бухараев В.М.* Идеальный учебник большевизма. Традиция и лингвокультура «Краткого курса истории ВКП(б)» // Новый мир истории России. Форум японских и российских исследователей. – М., 2001. – 786 с.
28. *Кумар К.* Марксизм и утопия // ОНС. – 1992. – № 3. – С. 125–135.
29. *Анкерсмит Ф.Р.* История и тропология: взлет и падение метафоры. – М., 2003. – 496 с.

Поступила в редакцию
28.09.07

Бухараев Владимир Миннетович – кандидат исторических наук, доцент кафедры политической истории Казанского государственного университета.

E-mail: Sovetnik101@yandex.ru

Мягков Герман Пантелеймонович – доктор исторических наук, профессор кафедры древнего мира и средних веков исторического факультета Казанского государственного университета.

E-mail: Myagkov@mi.ru